

Когда несколько лет тому назад нам передавали копии нижеследующих писем, нас уверяли, что они найдены в бумагах Вертера, и утверждали, что он еще до знакомства своего с Лоттой побывал в Швейцарии. Оригиналов мы никогда не видели, да, впрочем, мы ни в какой степени и не хотим предвосхищать чувства и суждения читателя: ибо как бы там ни было, но он не сможет остаться безучастным, пробежав эти немногие листы.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Как тошно мне от моих описаний, когда я их перечитываю! Только твой совет, твой призыв, твой приказ могут меня на то подвинуть. Да и сам я прочитал столько описаний этих предметов, прежде чем их увидел. Но разве дали они мне образ или какое-нибудь понятие? Напрасно трудилось мое воображение, пытаюсь создать их, напрасно мой дух старался что-либо при этом помыслить. Вот я стою и созерцаю эти чудеса, и что же со мной? Я не мыслю ничего, и так хочется при этом что-либо помыслить или почувствовать. Это прекрасное настоящее волнует меня до самой глубины, побуждает меня к деятельности, но что могу я делать, что делаю я? И вот я сажусь, и пишу, и описываю. Так в добрый час, вы, описанья! Обманывайте моего друга, заставьте его поверить, что я делаю что-то, а он что-то видит и читает.

Как? Швейцарцы свободны? Свободны эти зажиточные граждане в запертых городах? Свободны эти жалкие бедняги, ютящиеся по отвесам и скалам? На чем только человека не проведешь! Особливо на такой старой, заспиритованной басне. Они однажды освободились от тирании и на мгновение могли возомнить себя свободными, но вот солнышко создало им из падали поработителя путем странного перерождения целый рой маленьких тиранов; а они все рассказывают старую басню, и до изнеможения слушаешь все одно и то же: они, мол, некогда отвоевали себе свободу и остались свободными. Вот они сидят за своими стенами, плененные собственными привычками и законами, собственными кумушкиными сплетнями и пошлостями, да и там, снаружи, на скалах, тоже стоит поговорить о свободе, когда полгода, как сурок, сидишь закопанный в снегу.

Фу, что за вид у этакого создания рук человеческих, у этакого жалкого, вскормленного и придавленного нуждой создания рук человеческих, у этакого черного городишка, у этакой кучки из дранки и камней в окружении великой и прекрасной природы! Большие куски кремня и других камней на крышах, — только бы буря не снесла унылую кровлю у них над головой и всю эту грязь, весь этот навоз! И удивленных безумцев! — Где только не встречаешься с людьми, хочется тотчас же бежать от них, от их унылых созданий.

В том, мой друг, что в человеке столько духовных задатков, которые в жизни не могут развиваться, которые указуют на лучшее будущее, на гармоническое существование, — в этом мы с тобой согласны, но и от другой моей фантазии я тоже не могу отказать, хотя ты и не раз уже объявлял меня мечтателем. Мы ощущаем в себе также и смутное предчувствие телесных задатков, от развития которых мы в этой жизни должны отказаться: так, я уверен, обстоит дело с полетом. Как и прежде уже облака манили меня уйти с ними в чужие страны, когда они высоко проплывали над моей головой, так и теперь я часто нахожусь в опасности, что они меня возьмут с собой, проходя мимо меня, когда я стою на вершине скалы. Какую я ощущаю в себе жажду броситься в бесконечное воздушное пространство, парить над страшными пропастями и снижаться на неприступную скалу. С каким вожделением я все глубже и глубже вдыхаю, когда орел в темной, синей глубине подо мною парят над скалами и лесами, когда он в обществе самки в нежном согласии чертит большие круги вокруг той вершины, которой он доверил свое гнездо и своих птенцов. Неужто я обречен всего лишь взползть на высоты, лепиться к высочайшей скале, как к самой плоской низменности, и, с трудом достигнув своей цели, боязливо цепляться, содрогаясь перед возвращением и трепещ перед паденьем?

С какими все-таки странными особенностями рождаемся мы на свет! Какое неопределенное стремление действует в нас! Как своеобразно противоборство воображения и телесных настроений! Странности моей ранней молодости возникают вновь. Когда я иду по длинной дороге куда глаза глядят и размахиваю рукой, я иногда вдруг хватаю что-то, как будто дротик, я мечу его — не знаю в кого, не знаю во что; а потом вдруг навстречу мне летит стрела и пронзает мне сердце; я ударяю рукой в грудь и ощущаю неизъяснимую сладость, и вскоре — я снова в своем естественном состоянии. Откуда это явление? Что означает оно и почему оно повторяется всегда с совершенно теми же образами, теми же телодвижениями, теми же ощущениями?

Опять говорят мне, что люди, которые видели меня в пути, очень мало мною довольны. Охотно этому верю, ибо никто из них ничем и не содействовал моему довольству. Откуда я знаю, в чем тут дело! Почему общество меня гнетет, почему мне неловко от вежливости, почему то, что они мне говорят, меня не интересует, а то, что они мне показывают, мне либо безразлично, либо действует на меня совершенно иначе. Стоит мне увидеть нарисованный или написанный ландшафт, как во мне возникает беспокойство, которое не выразишь. Пальцы ног начинают вздрагивать в башмаке, как бы стремясь схватить землю, пальцы рук судорожно шевелятся, я кусаю губы и — приятно то или нет стараюсь бежать от общества, я бросаюсь на самое неудобное сиденье, но лицом к лицу перед великолепной природой, я пытаюсь схватить ее глазами, пронзить ее и, лицезревая ее, заполняю каракулями листочек, который ничего не изображает и все же остается для меня бесконечно ценным, потому что напоминает мне о счастливом миге, о его блаженстве, добытом этими неумелыми упражнениями. Что же это такое, это своеобразное стремление от искусства к природе и обратно — от природы к искусству? Если это указывает на художника, почему мне не хватает упорства? Если же это меня зовет к наслаждению, почему я не могу его ухватить? Нам как-то на днях прислали корзину с плодами; я был восхищен, как небесным виденьем: такое богатство, такая полнота, такое многообразие и вместе родственность! Я не мог себя заставить сорвать ягоду, надломить персик или фигу. Конечно, такое наслаждение глаза и внутреннего чувства выше, достойнее человека, оно, быть может, — цель природы, в то время как алчущие и жаждущие люди мнят, что природа расточает себя в чудесах ради их неба. Фердинанд вошел и застал меня за моими размышлениями, он со мною согласился и сказал затем, улыбаясь и глубоко вздохнув: «Да, мы не достойны разрушать эти чудесные произведения природы, поистине — это было бы жаль! Позволь мне послать их моей возлюбленной». Как приятно мне было, когда уносили корзину! Как любил я Фердинанда! Как благодарен я был ему за то чувство, которое он возбудил во мне, за те возможности, которые он открыл передо мной! Да, мы должны знать прекрасное, мы должны с восхищением его созерцать и стараться возвыситься до него, до его природы; и, чтобы достигнуть этого, мы должны оставаться бескорыстными, мы не должны присваивать себе его, — нет, лучше делиться им, приносить его в жертву тем, кто нам мил и дорог.

Чего только не мудрят с нами смолоду наши воспитатели! Мы должны отделаться то от одного недостатка, то от другого, а между тем каждый из этих недостатков почти всегда — один из многих органов, при помощи которых человек пробирает себе дорогу через жизнь. Чем только не донимают мальчика, в котором разглядели хотя бы искорку тщеславия! Но что за жалкое создание человек, отделавшийся от всякого тщеславия! Я сейчас скажу тебе, как я дошел до этого заключения: третьего дня к нам присоединился молодой человек, который мне и Фердинанду был до чрезвычайности противен. Его слабые стороны были настолько выпячены наружу, пустота его была настолько очевидна, его забота о внешности настолько бросалась в глаза, мы сами считали его настолько ниже себя, и — всюду его принимали лучше, чем нас. В довершение своих глупостей, он носил красный атласный жилет, который около шеи был скроен так, что имел вид орденской ленты. Мы не могли скрыть своих насмешек над этой нелепостью. Он все сносил терпеливо, выгадывая на этом все, что мог, и, вероятно, про себя над нами издевался. Ибо хозяин и хозяйка, кучер, слуга и горничные, даже некоторые из приезжих, обманутые внешним блеском, попадались на удочку, обращались с ним вежливей, чем с нами, ему подавали первому, и мы видели, что, к величайшему нашему унижению, все девицы в доме больше всего заглядывались на него. В конце концов нам пришлось поровну расплачиваться по счету, разросшемуся благодаря его аристократическим замашкам. Кто же из нас остался в дураках? Уж конечно, не он!

Есть что-то прекрасное и душеспасительное в аллегориях и приветственных изречениях, которые попадают на здешних печках. Вот тебе рисунок одной из этих назидательных картинок, который мне особенно пришелся по душе. Лошадь, задней ногой привязанная к столбу, пасется около него, насколько это ей позволяет веревка. Внизу подписано: «Дозволь мне принять свою смиренную долю пропитанья». Таков, пожалуй, скоро буду и я, когда вернусь домой, и, подобно лошади на мельнице, буду, следуя высшей воле, исполнять свой долг и взамен, подобно лошади на этой печке, получать строго отмеренное содержание. Да, я вернусь, но то, что меня ожидает, стоило того, чтобы взбираться на эти горные кручи, чтобы бродить по этим долинам, чтобы видеть это синее небо, видеть, что существует природа, которая зиждется на вечной, немой необходимости, которая ни в чем не нуждается, которая бесчувственна и божественна, в то время как мы в местечках и городах должны бороться за свои жалкие нужды, и вместе с тем все подчиняем смутному произволу, именуемому нами свободой.

Да, я взобрался на Фурку, на Готтард! Эти возвышенные, несравненные картины природы будут всегда стоять перед моим духовным взором. Да, я читал римскую историю, чтобы при сравнении живой почувствовать, какой я жалкий заморыш.

Никогда еще не было для меня так ясно, как за последние дни, что я и в ограничениях мог бы быть счастливым, столь же счастливым, как и всякий другой, если бы я только знал какое-нибудь живое дело, но не остающееся на завтрашний день, требующее в момент его исполнения прилежания и точности, но не предусмотрительности и осторожности. Каждый ремесленник кажется мне самым счастливым человеком; то, что он должен делать, — назначено, то, что он может сделать, — решено заранее; он никогда не размышляет над тем, что от него требуют, он работает, не думая, без напряжения и спешки, но с прилежанием и любовью, как птица над гнездом, как пчела над сотами; он только на одну ступень выше животного и вместе с тем — дельный человек. Как я завидую гончару за его кругом, столяру за его станком!

Мне не правится земледелие, это первое и необходимое занятие человека мне противно; человек обезьянничает с природы, которая разбрасывает свои семена всюду, а тут он хочет производить именно на этом особом поле именно этот особый плод. Не тут-то было: сорная трава растет без удержу, холод и сырость вредят посевам и град уничтожает их. Бедный земледelec ждет целый год, гадая, какие ему за облаками выпадут карты, выиграет ли он по своим ставкам или проиграет. Такое неверное, двусмысленное состояние, вероятно, вполне соответствует природе человека, свойственно нам, не знающим, в своей тупости и глухоте, ни откуда мы, ни куда мы идем. Поэтому мы, вероятно, и миримся с тем, что вверяем случаю свои старания, — ведь имеет же пастор повод, когда дела совсем плохи, помянуть своих богов и связывать грехи своего прихода с природными явлениями.

Итак, мне не в чем больше упрекать Фердинанда! И я дождался милого приключения. Приключения? Зачем употребляю я это глупое слово? Разве это приключение, когда нежная тяга влечет человека к человеку? Наша повседневная жизнь, наши ложные отношения — вот это приключения, вот; это чудовищные злключения, и все-таки они нам кажутся такими же знакомыми, такими же родственными, как дядюшки и тетушки.

Мы были приняты в дом господина Тюду и чувствовали себя в этой семье очень счастливыми: богатые, открытые, добрые, живые люди, которые вместе со своими детьми беззаботно и пристойно наслаждались счастьем дня, своим достатком и чудесным местоположением. Нам, молодым людям, не пришлось ради старших пожертвовать собою за игорным столом, как это случается в стольких чопорных домах. Напротив, старшие, отец, мать и тетушки, присоединились к нам, в то время как мы предлагали маленькие игры, в которых переплетаются случай, находчивость и остроумие. Элеонора (уж, так и быть, приходится мне ее назвать), вторая дочь, — образ ее вечно будет передо мной, — стройное, нежное сложение, чистота ее облика, светлый взор, бледность, которая в девушках этого возраста скорее привлекает, чем отталкивает, ибо она указывает на излечимый недуг, в целом — невыразимо милое существо. Она оказалась веселой и живой, и с нею было так хорошо. Вскоре, — нет, я не ошибусь, если скажу тотчас, — тотчас, в первый же вечер она приблизилась ко мне, села со мной рядом, и когда нас разлучала игра, все же находила способ оказаться со мной вместе. Я был весел и беспечен: путешествие, прекрасная погода, местность — все настроило меня на безусловное, я бы даже сказал, повышенное веселье; я воспринимал его от каждого и каждого им заражал. Даже Фердинанд, казалось, на миг забыл о своей красавице. Мы уже исчерпали себя во всевозможных играх, пока наконец не дошли до «свадьбы», которая как игра в достаточной степени забавна. Записки с именами мужчин и женщин бросают в дне шляпы и таким образом заключают браки, попарно вытягивая записки. На каждую пару кто-нибудь из присутствующих по очереди сочиняет стихотворение. Все присутствующие: отец, мать и тетушки — должны были отправиться в шляпы, за ними все значительные лица, Знакомые нам в их кругу, а также, дабы увеличить число кандидатов, мы туда же набросали самых знаменитых представителей политического и литературного мира. Игра началась, и тотчас же было извлечено несколько значительных пар. Со стихами поспевали не все. Она, Фердинанд, я и одна из тетушек, которая пишет очень милые французские стихи, вскоре поделили между собой весь секретариат. Остроты были по большей части хороши и стихи сносны; в особенности ее стихи обладали естественностью, которая отличала их от всех других удачными оборотами, без особого, однако, остроумия, шутливостью без издевательства и с добрым отношением к каждому. Отец смеялся от души и сиял от радости, когда приходилось признать, что стихи его дочери можно поставить вровень с нашими. Наше безмерное одобрение приводило его в восторг, мы же хвалили так, как восхищаются неожиданным, как восхищаются в тех случаях, когда мы подкуплены автором. Наконец выпал и мой жребий, и небо почтило меня высокой

статью: это была не кто иная, как русская императрица, которую мне вытиснули в качестве подруги жизни. Все смеялись от души, и Элеонора заявила, что для столь высокого сожительства все общество должно постараться. Старались все. Несколько перьев были уже изгрызены. Она кончила первой, но захотела читать последней. У матери и одной из тетушек не вышло ничего, и хотя отец написал несколько бесцеремонно, Фердинанд не без ехидства, а тетушка очень сдержанно, можно было сквозь все это уловить их дружеское и доброжелательное ко мне отношение. Наконец пришла ее очередь. Она глубоко затаила дыхание, беззаботность и непринужденность сразу ее покинули она не прочитала, а только прошептала написанное и положила листок передо мной к остальным. Я был удивлен, испуган: так раскрывается цветок любви в своей величайшей красе и скромности! У меня было на душе так, словно целая весна вдруг осыпала меня своими цветами. Все замолчали. Фердинанд не потерял присутствия духа, он воскликнул: «Прекрасно! Он так же не заслужил этого стихотворения, как и императорской короны». — «Если бы мы только его поняли», — сказал отец. Потребовал, чтобы я его прочитал еще раз. Взоры мои все время покоились на драгоценных словах, меня охватил трепет с головы до ног. Фердинанд заметил мое замешательство, взял у меня лист и прочитал. Едва он успел кончить, как она уже вытянула следующий жребий. Игра продолжалась недолго, и нас позвали к столу.

Говорить или не говорить? Хорошо ли скрывать что либо от тебя, которому я столько говорю, которому я все говорю? Могу ли я скрыть от тебя нечто значительное, в то время как занимаю тебя столькими мелочами, которые, конечно, никому неохота читать, кроме тебя, питающего ко мне столь великое и удивительное пристрастие; или же мне все-таки об этом умолчать потому, что это могло бы дать тебе ложное, дурное обо мне представление? Нет! Ты знаешь меня лучше, чем я сам, ты сумеешь правильно оценить и то, чего ты от меня и не ожидаешь, даже если бы я мог это совершить, ты меня не пощадишь, если я заслуживаю порицания, ты меня поведешь и направишь, если мои странности отвлекут меня от пути истинного.

Моя радость, мой восторг перед произведениями искусства, когда они правдивы, когда они — непосредственные одухотворенные глаголы самой природы, доставляют огромное удовольствие каждому собирателю, каждому любителю. Те же, что называют себя знатоками, не всегда разделяют мое мнение; но ведь мне-то нет дела до их знаний, когда я счастлив. Разве живая природа со всей своей живостью не впечатлевается в нашем глазу, разве картины ее не закреплены в прочных образах перед моим взором, разве образы эти не становятся краше, разве они не ликуют, когда встречаются с образами искусства, украшенными человеческим духом? На этом, признаюсь тебе, зиждется до сей поры моя любовь к природе, моя склонность к искусству, почему я и видел в природе столько красоты, столько блеска и столько очарования, почему и попытки художника с ней сравняться, самые несовершенные попытки, увлекали меня почти с такой силой, как и совершенство самого прообраза. Одухотворенные, прочувствованные произведения искусства — вот что меня восхищает. Зато для меня совершенно невыносимы те холодные существа, которые замыкаются в ограниченный круг определенной, скудной манеры и робкой кропотливости. Ты видишь, таким образом, что моя радость, мое расположение могли до сей поры относиться лишь к таким произведениям искусства, природные образцы которых мне были знакомы и которые я мог сравнить с собственным моим опытом. Деревенские виды со всем тем, что их оживляет, цветы и плоды, готические церкви, портрет, непосредственно схваченный с природы, — все это мог я познавать, чувствовать и, если хочешь, обо всем Этом мог до известной степени судить. Честный М. радовался душевному моему складу и подшучивал надо мной, несколько меня этим не задевая. Ведь кругозор его в этой области настолько шире моего, да и я охотнее сношу поучительную насмешку, чем бесплодную похвалу. Он заметил себе то, что прежде всего мне бросалось в глаза, и, после того как мы ближе с ним познакомились, уже не скрывал от меня, что в восхищавших меня предметах, может быть, заложено немало Вечного, которое мне откроется лишь со временем. Пусть это так, и куда бы в сторону еще ни увлекало меня мое перо, я все же должен перейти к тому делу, которое я хотя и неохотно, но хочу тебе доверить. Смогут ли твои мысли последовать за мной в этот привольный и пестрый мир? Будут ли все отношения и обстоятельства достаточно ясны твоему воображению? И будешь ли ты столь же снисходительным к отсутствующему другу, каким ты бывал в моем присутствии?

После того как мой друг по искусству узнал меня ближе, после того как он счел меня достойным постепенно знакомиться все с лучшими и лучшими произведениями, он притаился, с достаточно таинственным видом, ящик, который, когда его открыли, обнаружил написанную во весь рост Даная, принимающую золотой дождь в свое лоно. Я был поражен роскошным телосложением, красотой расположения и позы, величественной нежностью и одухотворенностью столь чувственного предмета, и все же я только созерцал. Все это не возбуждало во мне восторга, радости, невыразимого блаженства. Мой друг, который перечислял мне целый ряд достоинств этой картины, из-за собственного восторга не замечал моей холодности и радовался случаю разъяснить мне преимущества картины. Вид ее меня не осчастливил, он меня беспокоил. «В чем же тут дело? — говорил я сам себе. — В каком же особом положении находимся мы, люди, ограниченные своей будничной жизнью?» Мшистая скала, водопад надолго приковывают мой взор, я знаю их наизусть; впадины и выпуклости, свет и тень, цвет, полутона и рефлексы — все предстает моему духовному оку, и лишь только я этого пожелаю, все снова столь же живо возникает передо мною благодаря счастливой способности воспроизведения. Но здесь, перед величайшим созданием природы, — перед человеческим телом, созерцая связь и согласованность его сложения, я получаю только самое общее понятие, которое, в сущности, и непонятно. Мое воображение не может представить себе это чудное строение с достаточной ясностью, а когда оно мне явлено в искусстве, я не в силах ни что-либо при этом почувствовать, ни судить об этой картине. Нет! Я не хочу дольше пребывать в тупом состоянии, я хочу запечатлеть в себе образ человека так, как во мне запечатлены образы виноградных гроздей и персиков.

Я заставил Фердинанда выкупаться в озере. Как чудесно сложен мой друг! Какая равномерность всех частей! Какая полнота формы, какой юношеский блеск! Сколько пользы получил я от того, что обогатил свое воображение этим совершенным образом человеческой природы! Отныне я буду населять леса, луга и горы столь же прекрасными образами; его я вижу в образе Адониса, преследующего вепря, его же — в образе Нарцисса, любующегося своим отражением в ручье.

Однако мне еще недостает Венеры, его удерживающей, Венеры, оплакивающей его смерть, прекрасной Эхо, бросающей, прежде чем исчезнуть, последний взгляд на похолодевшего юношу. Я твердо решил, чего бы это мне ни стоило, увидеть девушку в природном состоянии, так же, как я увидел своего друга. Мы приехали в Женеву. «Неужели, — думал я, — нет в этом большом городе девушек, которые за известную цену отдаются мужчине! Я неужели не найдётся среди них ни одной, которая обладала бы достаточной красотой и готовностью, чтобы доставить праздник моим глазам?» Я стал нащупывать почву, заговорив с наемным слугой, который, однако, лишь медленно и осмотрительно шел мне навстречу. Конечно, я ему не выдал своего намерения; пускай он думает обо мне что хочет, — ведь приятнее же показаться кому-нибудь порочным, чем смешным. Он повел меня вечером к старой женщине. Она приняла меня с большой осторожностью и сомнениями: всюду, говорила она, в особенности же в Женеве, опасно оказывать услуги молодежи. Я тотчас же

объяснил ей, какого рода услугу я от нее требую. Я удачно сочинил целую историю, и мы как ни в чем не бывало разговаривали. Я, мол, художник, рисовал ландшафты, которые я отныне хочу возвысить до ландшафтов героических фигурами прекрасных нимф. Я говорил ей удивительнейшие вещи, которых ей, вероятно, ввек не приходилось слышать. Она на это качала головой и уверяла: трудно мне, дескать, угодить. Честная девушка нелегко на это согласится, это мне обойдется недешево, ну, там видно будет. «Как, — воскликнул я, — честная девушка отдается за сходную цену чужому мужчине?» — «Еще бы!» — «И не хочет явиться обнаженной перед моими глазами?» — «Отнюдь! На это требуется большая решимость». — «Даже если она прекрасна?» — «Даже тогда. Одним словом, посмотрю, что я смогу, для вас сделать. Вы — скромный, хорошенький молодой человек, для которого стоит постараться».

Она потрепала меня по плечу и по щекам: «Да, — воскликнула она, художник! Видно, так и есть, ибо вы недостаточно стары и знатны, чтобы нуждаться в такого рода сценах». Она назначила мне прийти на следующий день, и мы на этом расстались.

Я не могу не пойти сегодня с Фердинандом в одно большое общество, а вечером меня ожидает мое приключение. Какой же это будет контраст! Я заранее знаю это проклятое общество, где старые женщины требуют, чтобы с ними играли, молодые, чтобы с ними любезничали, где сверх того нужно выслушивать ученого, оказывать почтение духовной особе, уступать место дворянину, где столько свечей, и дай бог, чтобы они освещали хотя бы одну сносную фигуру, которая к тому же спрятана за варварским нарядом. Неужели мне придется говорить по-французски, на чужом языке? А это всегда, как ни вертись, значит быть смешным, потому что на чужом языке можно выражать только пошлости, только грубые оттенки и к тому же запинаясь и заикаясь. Ибо чем отличается дурак от остроумного человека, как не тем, что последний умеет быстро, живо и самобытно подхватить все, что есть неуловимого, нежного и вместе с тем уместного в настоящее мгновение, и умеет это выражать с легкостью, в то время как первый, совершенно так же, как мы это делаем, говоря на иностранном языке, принужден всякий раз довольствоваться общепринятыми, стереотипными оборотами. Сегодня я в течение нескольких часов спокойно буду выносить все дешевые остроты в предвидении той необычной сцены, которая меня ожидает.

Приключение мое сейчас уже позади, оно удалось всецело согласно моим желаниям, свыше моих желаний, и все-таки я не знаю, радоваться ли мне этому или себя за это порицать. Разве мы не созданы для чистого созерцания красоты, для того, чтобы бескорыстно творить добро? Не бойся ничего и выслушай меня. Мне не в чем себя упрекать; то, что я видел, не вывело меня из равновесия, но мое воображение распалено, моя кровь горит. О, если бы только я уже стоял перед ледяными громадами, чтобы снова остыть! Я украдкой бежал из общества и, завернувшись в плащ, не без волнения прокрался к старухе. «Где же ваша папка?» — воскликнула она. — «Я на этот раз ее не захватил. Я собираюсь нынче штудировать одними глазами». — «Вам, верно, хорошо платят за ваши работы, раз вы можете позволить себе такие дорогие этюды. Сегодня вы дешево не отделаетесь. Девушка требует, а мне за мои старания вы уж меньше не дадите. (Ты простишь мне, если я умалчиваю о цене.) Зато и услуги получите вы такие, какие вы только можете пожелать. Надеюсь, вы похвалите меня за мои заботы: такого пиршества для глаз вам еще отведывать не приходилось, а... прикосновения — даром».

Тут она меня ввела в маленькую очень мило меблированную комнату; пол был покрыт чистым ковром, в каком-то подобии ниши стояла очень опрятная кровать, в головах ее — туалет с большим зеркалом, а в ногах — тумбочка с канделябром, в котором горели три прекрасных, светлых свечи. И на туалете горели две свечи. Потухший камин успел прогреть всю комнату. Старуха предложила мне кресло у камина против кровати и удалилась. Прошло немного времени, и из противоположной двери вышла большая, чудесно сложенная, красивая женщина. Одежда ее ничем не отличалась от обычной. Она как будто меня не замечала, сбросила черный капот и села за туалет. Она сняла с головы большой чепец, закрывавший ей лицо; обнаружились прекрасные, правильные черты, темно-русые густые волосы рассыпались по плечам большими волнами. Она начала раздеваться. Что за диковинное ощущение, когда спали одна одежда за другой, и природа, освобожденная от чуждых покровов, явилась мне как чужая и произвела на меня почти что, я бы сказал, жуткое впечатление! Ах, мой друг, не так ли обстоит дело с нашими мнениями, нашими предрассудками, обычаями, законами и прихотями? Разве мы не пугаемся, когда лишаемся чего-либо из этого чуждого, ненужного, ложного окружения и когда та или иная часть нашей истинной природы должна предстать обнаженной? Мы содрогаясь, нам стыдно, а между тем мы не чувствуем ни малейшего отвращения перед тем, чтобы самыми странными и нелепыми способами самих себя исказить, подчиняясь внешнему насилию. Признаться ли тебе? Но я точно так же растерялся при виде этого чудесного тела, когда спали последние покровы, как, может быть, растерялся бы наш друг Л., если бы он по велению свыше сделался предводителем могоавков. Что мы видим в женщинах? Какие женщины нам нравятся и как путаем мы все понятия! Маленькая туфелька нам нравится, и мы уже кричим: «Что за прелестная ножка!» Мы заметили в узком корсаже нечто элегантное, и мы уже расхваливаем прекрасную талию.

Я описываю тебе свои размышления потому, что словами не могу описать тебе всю последовательность очаровательных картин, которыми прекрасная девушка так прилично и так мило дала мне налюбоваться. Как естественно каждое движение следовало за другим, и все же какими продуманными они мне казались! Она была прелестна, пока раздевалась, она была прекрасна, изумительно прекрасна, когда упала последняя одежда. Она стояла так, как Минерва могла стоять перед Парисом, она скромно взошла на свое ложе, обнаженная, она пыталась предаться сну в разных положениях, наконец она как будто задремала. Некоторое время она оставалась в очаровательном положении, я мог только дивиться и любоваться. Наконец ее как будто стал тревожить страстный сон, она глубоко вздохнула, порывисто меняла положения, лепетала имя возлюбленного и как будто простирала к нему свои руки. «Приди!» — воскликнула она наконец внятным голосом. — «Приди, мой друг, в мои объятия, или я на самом деле засну». Тут она схватила шелковое стеганое одеяло, натянула его на себя, и из-под него выглянуло милейшее личико.

Комментарии

Гете не раз просили друзья и мечтающие о наживе книготорговцы написать «другого Геца», даже целую серию рыцарских драм, предлагая немалый аванс. Тем более надеялись читатели и издатели, что Гете обогатит немецкую литературу новыми романами «в манере «Вертера». Заговаривали о том же и некоторые французские почитатели «немецкого романиста». Гете смотрел на каждое крупное произведение, вышедшее из-под его пера, как на очередной этап своей духовной биографии (или «единой исповеди», как он выражался), а потому неизменно отвечал отказом на подобные просьбы и предложения. Но с «другим Вертером» дело обстояло сложнее. Натиск был слишком велик. «Не дай бог мне попасть в такой переплет, что было бы впору писать второго «Вертера», — писал он из Женевы своей подруге госпоже фон Штейн. И тут у него мелькнула мысль написать вещицу из жизни Вертера до его встречи с Лоттой в той же эпистолярной манере, которая была знакома читателям по знаменитому роману. Нельзя сказать, чтобы этот замысел

был удачен, да он и не был осуществлен. Читатель любит «сочувствовать» герою повествования, угадывать, как сложится его жизнь, а судьба Вертера, его конец были — увы! — слишком известны всей читающей Европе.

Впервые напечатаны были «Письма из Швейцарии» в 1808 году в томе XI Собрания сочинений Гете в первом издании книготорговца Котта, непосредственно после включенных в этот том «Страданий юного Вертера». Следуя этой традиции, так поступаем и мы, не зная точно, в какой степени мы тем самым нарушаем хронологическую последовательность расположения произведений писателя, входящих в том 6 настоящего издания.

Когда были написаны эти «Письма из Швейцарии», увидевшие свет только в 1808 году, и притом в «двух частях», мы не знаем. Вторая их часть состоит из подлинных писем Гете, посланных друзьям из Швейцарии во время второго его путешествия по этой стране осенью 1779 года. Сохранилось письмо Гете к Шиллеру, в то время редактору журнала «Оры», от 12 февраля 1796 года, посланное вместе с рукописью, о которой автор отозвался как об «очень субъективном путешествии», тогда сплошь состоявшей из нескольких обработанных подлинных писем 1779 года. «Судите сами, — так пишет он Шиллеру, — насколько эта рукопись годится для журнала. Может быть, она и сойдет, если к письмам присочинить какую-нибудь душещипательную сказку». Такой сказкой, видимо, и являлась первая часть (вернее бы, «частица») «Писем из Швейцарии». Действительно ли она была приписана позднее или попросту взята из старых бумаг, то есть из набросков задуманного «Путешествия Вертера»? Две записи в дневнике Гете от 18 и 19 февраля 1796 года, в которых сказано: «Начал диктовать Вертерово путешествие», — не разъясняют вопроса: диктовал ли он исправленные черновики «Путешествия» или же приступил к сочинению нового произведения из прошлой жизни героя «Страданий юного Вертера». В «Орах» были напечатаны подлинные письма Гете (теперь составлявшие вторую часть «Писем из Швейцарии»), а «душещипательная сказка» (точнее, фрагмент из нее) была опущена. Надо сказать, что эти две части сильно разнятся друг от друга и единого целого не образуют. В том 6 настоящего издания включен только перевод первой части «Писем» (фрагмент задуманного «Путешествия Вертера»). В этом фрагменте перед читателем вновь предстает образ Вертера, «одаренного чистым восприятием и пытливым умом», как о нем отзывается Гете в уже приводившемся нами (в комментариях к «Страданиям юного Вертера») письме к Шенборну.

Любопытно, имелось ли в «старых бумагах» 1779 года замечательное рассуждение: «Как? Швейцарцы свободны?.. На чем только не проведешь человека!» — до слов: «Они, мол, некогда отвоевали себе свободу и остались свободными», — или Гете привнес его в 1796 году, уже под впечатлением Первой французской буржуазной революции 1789 года? На этот вопрос при полном отсутствии документальных источников «Писем из Швейцарии» едва ли возможно ответить.

Н. Вильмонт